

01.10.93.2
Пастернак В. Л.

В конце 1960 года в гостиной Центрального Дома литераторов в углу за маленьким столиком собралась небольшая группа людей. Они спорили, шуршали бумагами и, как можно было догадаться, толковали о литературе. Собрание это называлось громко — Всероссийский семинар молодых критиков (я, например, приехал в Москву из Хабаровска), и одним из руководителей его был Владимир Огнев.

Сейчас и мы уже немолоды, и В. Огнев недавно отметил свое семидесятилетие, но я до сих пор помню те посиделки и добрые слова, сказанные о каждом из нас на семинаре и в печати.

С тех пор выходили в свет книги критики и прозы В. Огнева, фильмы по его сценариям, составленные им антологии литературы народов Югославии.

Предлагаем читателям главу из новой его работы — только что законченной книги воспоминаний, которая пока еще не нашла издателя.

Игорь ЗОЛОТУССКИЙ

Страшная фамилия

С Б. Л. Пастернаком я познакомился после войны в Москве в парикмахерской у знаменитого Маргулиса в Доме литераторов. Два моих приятеля по Литинституту, Константин Левин и Гриша Куренев, привели меня в подвальчик к Моисею Михайловичу, заверив, что к трем часам подойдет Б. Л. стричься.

О Моисее Михайловиче надо рассказывать отдельно и подробно. Это была легенда Союза писателей. Но речь не о нем. К теме Пастернака разве что имеет отношение анекдот о том, что ответил поэт на вопрос Маргулиса: «Как вас постричь?» — «Молча». Кто знал Маргулиса, может подтвердить: это было почти невыполнимое условие...

Так вот, Костя, Гриша и я сидели в парикмахерской у Моисея Михайловича.

Они страшно гордились своим знакомством с Пастернаком, Костя и Гриша. Они уже дважды были у него дома. Правда, первый визит их к гению остался в памяти фразой последнего, которая их явно обескуражила: Б. Л., предлагая раздеться, велел «пальто и стихи оставить на вешалке». Тогда они просто пили чай и говорили о жизни, а вот во второй раз Б. Л. сам попросил почитать «свое». Оценил ли Пастернак их таланты — не знаю. Тут у Кости и Гриши были разночтения.

Левин — человек очень даровитый — писал тогда не без «пастернакизма», и потому вряд ли стихи его могли прийти по душе Б. Л. Большие поэты не любят подражателей своих. Потому, наверное, Костя и утверждал, что впечатление у Пастернака от их стихов «в сумме было скорее кислым», хотя кое-что и вызвало интерес. По образам, у Гриши же осталось в памяти какое-то двусмысленное «ах!», вполне возможно, что и вырвавшееся у поэта, особенно если чтение затянется. Но Гриша склонен был трактовать это междометие как знак восторга. Пришло же это историческое «ах!» на что-то вроде:

*У реки Полоты
Я не буду уже молодым...*

Ровно в три пополудни, нагибаясь в дверном проеме, появился высокий, продолжавший оставаться сутулым человек с характерной лепной лица: Пастернак! Мои приятели встали и поздоровались. Он ответил приветливо и сел в кресло. Я с испугу закрылся газетой и некоторое время слушал, не слыша, разговор? Б. Л. с Моисеем и обоими счастливыми — Костей и Гришей. Речь шла о напущевшем тогда пожаре, то и дело повторялось слово «огонь». Пытал и я, но, осмелев, приотпустил верхний край газеты и посмотрел в зеркало из-за спины Б. Л. Никогда не забыть мне момента, когда вдруг встретились наши глаза. Это была какая-то мистика. Я прочитал в них, отраженных в стекле, измученным мылом Маргулиса, интерес — да, да, пристальный взгляд темных глаз и рскачущий, казалось, капризный голос: «Что же вы не знакомите меня со своим другом?» И встал! И повернулся с уже повязанной салфеткой! И пожал мне руку огромной, какой-то теплой, сухой ладонью! Перебывая друг друга, Гриша и Костя что-то ему говорили обо мне — я не слышал. Покраснев, пробормотал:

— У меня фамилия страшная: Огнев.

— У меня страшнее: Пастернак.

Позднее, не раз вспоминая первую встречу, больше всего был поражен той сверхчеловеческой чуткостью гения. Он обратился ко мне первым, я убежден, именно и только потому, что ощутил на расстоянии мое состояние крайней оторванности от его присутствия. Мне и самому ведь казалось, что красна на лице пропитала воздух — красное проступает сквозь газету и может вот-вот обжечь моего кумира! Б. Л., удивлялся я всякий раз, вспоминая и воссоздавая подробности случившегося чуда, не знал и не мог знать нашего «заговора» — подстеречь поэта в парикмахерской, я мог быть рядовым очередником Маргулиса, ожидающим своего часа. Тогда записывались заранее. Не мог Б. Л. знать и того, что мы — одна компания, ни Гриша, ни Костя словом со мной не педекинулись при нем. Интуиция! Только она и чувство, повторяю, жалости к молодому человеку, испытывавшему танталовы муки смущения, — вот что руководило Пастернаком, заставив его произнести первую фразу и встать для приветствия и знакомства.

Синяя тетрадь

В 1953 году Б. Л. передал мне синюю самодельную тетрадь, прошитую суровой серой ниткой. В ней было бесценное сокровище — собственноручно им переписанные стихи, в основном впоследствии вошедшие в роман «Доктор Живаго». Я работал тогда в «Литературной газете» и уговорил начальство, Бориса Сергеевича Рюрикова, прервать полосу замалчивания Пастернака, напечатать пикл, вернее, часть его, стихотворений десять, в газете. День, когда я принес из типографии набор (целую полосу!), был праздником. Но недолгим. Поздно ночью меня вызвал Рюриков. Остро отточенный карандаш навис над половицей. Борис Сергеевич был хмур. Он ткнул цветным карандашом в стихотворение «Рассвет».

Ты значил все в моей судьбе...

— Кто это? О чем это?

— «Мне к людям хочется, в толпу...» — заученно парировал я. — При чем здесь толпа? Я спрашиваю, кто это, что значит «все в судьбе»? Молчите? Да это же Христос! Нет, милые мои...

Цветной карандаш, разрывая бумагу, зачеркнул сначала «Рассвет», а потом и всю полосу.

Я не спал ночью ни минуты. Вспоминал, как днем, накануне, дважды звонил Б. Л. Спрашивал с нарочитой незаинтересованностью про набор и впечатление от стихов в редакции.

— Вы только не придавайте этому факту особого значения, — успокаивал меня Б. Л. — Я же чувствую, как вы волнуетесь! Не стоит того...

— Я не волнуюсь. Я уверен.

— Ну, всякое может быть. Но вы, право, не волнуйтесь!

Что скажу ему утром? Ведь я имел неосторожность обнадеежить Б. Л. Сразу же, как принес верстку. Сказал даже, что после моей визы есть виза дежурного редактора. И что все в восторге от стихов!

Утром, когда я, холодея, раздумывал над фразой, которую должен буду произнести, он позвонил первым.

— Ну вот. Ну не надо так переживать. Я ведь, знаете, и не ожидал. Это все не так важно. Прошу вас, не

стvie. Я увидел серую кепку, высокие сапоги, знакомое пальто с покатыми плечами и вскричал почти испуганно:

— Борис Леонидович! Простите, я не узнал вас...

— Меня теперь многие не узнают, — ответил он. И тут же обнял за плечи, почувствовал, что обидел.

— Солнце! — сказал я.

— Конечно, конечно, — пропел он уже нежно и успокаивающе.

Поговорив по телефону, Б. Л. пригласил меня пройтись. Это была самая последняя моя прогулка с ним. Я, стараясь не касаться больного, переводил разговор на Ахмадулину, Чиковани. Он — отстраненно, как бы уже из другого мира — говорил о России, о себе, о Новом Завете, о чуде самопожертвования...

Потом я хоронил Пастернака.

Потом зимой приходил на опустевшую дачу, подымался на второй этаж, как-то по-новому поражаясь аскетической пустоте дома поэта.

*Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.*

*Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.*

И кроме воспоминаний. Все, что связано с Пастернаком, все, что хоть как-то задело это имя, вставало передо мной в тиши его опустевшего дома.

Владимир ОГНЕВ

Фрагменты о Пастернаке

Осуждение поэта

Вот тот печальный день печально знаменитого пленума, когда от него открылись друзья — Мартынов и Слуцкий. Впрочем, Борис, мой друг, никогда в друзьях поэта не ходил. Но знал истинную ему цену, не мог не знать. И знал, что знает.

После выступления Слуцкий вышел в холл. Я не заходил в зал. Стоял, раздумывая, уйти совсем или остаться. Борис, бледный, подошел ко мне. Слова уже, оказывается, были сказаны. Тут повалили люди из зала, перерыв. Евгений Евтушенко широким легким шагом подошел к нам и громко, на весь холл Дома кино сказал:

— Борис Абрамович! Я должен вам большую сумму. Отдаю часть. Тридцать сребренников, — и протянул две монеты по пятнадцать копеек в покорно протянутую Слуцким руку.

В холле стало тихо.

Слуцкий повернулся на каблуках и пошел к выходу. Не понимая, что происходит, я догнал его и хотел пойти вместе с ним, но он попросил оставить его одного. Мягко, тихо, но решительно. Я остался, вернулся, и мне рассказали, что Слуцкий и Мартынов осудили Пастернака за публикацию «Живаго» за рубежом. Осудили вслед за явными подонками, с которых, как говорится, взятки гладки и о которых сказано было самим Пастернаком в стихотворении «Дурные дни»:

*И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славил прежде, кланял.*

Я был другом Бориса. Я видел, как он страдает. Я не верил в трусость его и потому не понимал, что произошло. Все оставалось, как было — мы встречались, гуляли, говорили, но долго я не мог набраться смелости и спросить, что заставило этого благороднейшего и честнейшего человека присоединиться к травле Пастернака. Но такой час настал. Разговор состоялся.



Летом 1939 года.

После смерти Бориса кто только не комментировал этот казус. Гадали, договаривались до того, что сломался, с кем не бывает. Простили за смягчающими обстоятельствами — до того и после не ломался.

Должен разочаровать многочисленных судей поэта. Да, боль невыносимая, мучившая ночами, раскаяние было. Но поступок был тоже продиктован разумом, а не нервами. Иначе это не был бы Слуцкий. После звонка из парткома он еще не знал, как поступит. Более того, говорил он мне, почти уверен был, что не станет выступать. Не потому — это главное! — что не осудил Пастернака — он сразу же осудил его, он, Слуцкий-государственный, не мог понять апелляции к Западу и никогда не понимал. О последнем как-то забыли судьбы Слуцкого. Он не хотел участвовать в работе пленума потому, что знал, кто и как будет судить большого поэта России. Перед рассветом он принял решение. Надо стать выше опасений, что не будет понят. Надо остаться самим собой. Честным и прямым. Дело шло о принципах. А тут всегда нужно мужество. Им в полной мере обладал Слуцкий. Как никто из тех, кого я встречал в жизни.

Случай с Мартыновым проще. Леонид Николаевич говорил мне, что очень испугался, решил — «все начинается сначала». Это означало ссылку, о которой он не любил вспоминать даже тогда, когда бывшие преследования стали приносить жертве дивиденды.

Ощущение утраченного времени было едва ли не главным двигателем поступков Мартынова. Я помню, например, как помогал перенести скромный его скарб в новую квартиру на Ломоносовском проспекте — это был первый «свой угол», полученный им от Союза писателей. Он вошел в пустую комнату, прислонился к дверному косяку и закрыл лицо руками: «Как поздно! Как поздно!» Но потом смущенно: «Простите. Это перед вами-то...» (мне и Слуцкому уже готовился ордер — в одну квартиру, но партком отозвал на меня документы, а Слуцкого «соединили» с Баклановым).

«Осуждение Пастернака» было мнимым. Вот он-то, Мартынов, вовсе не считал виной Б. Л. публикацию за рубежом. «Я только одного хотел, чтобы не началось прежнее. Ведь я только начал приходить в себя от вечного испуга, что со мной что-нибудь сделают», — искренне говорил Л. Н. Сам же Б. Л., насколько мне известно, скорбно переживая случившееся «отступничество», шел к своему финалу, как его Учитель в «Гефсиманском саду»:

*Но книга жизни подошла к странице,
Которая дороже всех святых.
Сейчас должно написанное сбыться,
Пусть же сбудется оно. Аминь.*

В тот день

О смерти Пастернака я узнал от двух поэтов. На одной и той же улице Горького. Нестерпимо солнечный, равнодушный день. И слова Вознесенского: «Пастернак умер». Это было у магазина «Армения». Вознесенский смотрел невидящими глазами, осунувшийся, омертвевший. Он сказал эти два страшных, казалось, несовместимых слова и пошел дальше. А я, спустившись к «Националю», натолкнулся на Илью Сельвинского. Он был странно возбужден. То, что я услышал от него, было неожиданным: «Вы слышали? Пастернак умер». И, повернувшись в сторону кремлевских стен, добавил энергично: «Теперь там поймают, кто сегодня первый поэт России!» Боже мой! Кому что, подумал я, потрясенный услышанным. Для Ильи Львовича, ревнивого сперва к Маяковскому, потом к Пастернаку, оставался еще один «поэт-Карфаген» — Твардовский. Теперь вся энергия души Сельвинского будет направлена на выяснение спорного первенства — его и Твардовского... А Пастернаку, как и при жизни, так и сейчас, было все равно, кому «быть знаменитым»...

Странные сближения

Впервые стихи Пастернака я услышал в войну, на нарах запасного 351-го стрелкового полка. Шел 1943 год. В сорокоградусный мороз рядовой Наум Мандель, получив очередные «два наряда вне очереди», мыл полы в землянке, покорно опуская негнущиеся тряпки в ведро с холодной водой. Делал он это своеобразно. Поболтав тряпками с полминуты, чтобы те намокли и потеряли ломкую упругость, он под дружный храл казармы выплескивал воду на цементный пол и залезал на нары. Там, под мутной лампочкой, доставал из-под матраца мятые клочки бумаги и, шевеля толстыми губами, писал стихи. Я ждал его с нетерпением, не спал. Через какое-то время Наум полупешотом читал написанное или чужие стихи. Так я узнал, что есть Чудо.

Чудо звалось Пастернаком.

Я, зачарованный, засыпал под утро, под вой метели, рвавшейся в шаткую дверь землянки, продолжая слышать чей-то шепот:

*Ужасный! — Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружево,
Или есть сиделка.*

И сны снились тихие, южные, сад в Анапе и летний дождик. И во сне было жаль себя, и людей, и этот плачущий (по всем нам?) сад...

Картина рая — и грубый треск распоротого полотна и сломанного подрамника — заканчивалась однообразно — варварским криком: «Па-а-а-а-а-а!»

С Манделем мы скоро расстались, чтобы снова встретиться уже после войны в Литинституте.

Потом Мандель стал знаменитостью. Коржавиным.

Наум остался для меня не только колоритной замечательной личностью, которую я нежно вспоминаю по сей день, но и человеком, открывшим мне великого русского поэта.

Он же, Наум, подарил мне свой любительский снимок похорон Пастернака в Переделкине.

Бывают странные сближения... Они связывают начала и концы.